

ТАМАРА КАЛЁНОВА

ЗАПИСКИ ИНСПЕКТОРА

Службы социальной защиты населения – западное изобретение. В конце 1991 года они появились и у нас, в России. Это было время, когда вокруг что-то говорилось, взрывалось, переустраивалось и перераспределялось, захватывалось и отбиралось, упразднялось и возникало под новыми, нередко завуалированными названиями. Останавливались производства, ломались судьбы, обесценивались деньги и уважаемые прежде профессии. Слова устали, вышептались, как привозной чеснок по весне: оболочка еще хранит форму, а внутри гниль, пустота; найти здоровое – диво... Нужно было что-то делать. Вот я и решила: защита – не нападение; и стала работать инспектором районного отдела соцзащиты.

* * *

Почти год приходила к нам Любовь Петровна Дорохова. Странный одинокий человек. Ее странность заключалась в том, что она не могла остановиться, если начинала говорить. Будто намолчалась сверх меры и теперь боялась, что ее прервут. Так вот, Любовь Петровна не разрешала называть себя одинокой пенсионеркой. (У нас только что в обиходе появился первый соцзащитовский термин: о/п, категория граждан – одинокие пенсионеры.)

– Что это вы? Какая же я одинокая? – говорила она. – Со мною Бог и добрые люди. А ты, матушка, – обращаясь ко мне, – посчитай, сколь на свете добрых людей? Твоих костяшек не хватит, – показывает на деревянные счеты на подоконнике. – Сразу собьешься.

Любовь Петровна считала всех людей, с кем ей доводилось встречаться, своими родственниками. Меня называла матушкой или сестрой, Ольгу, Веру, Таню и Евгению – дочками, начальника “ЖОУ” (она упорно так именовала домоуправление) – братом, к прохожему обращалась: сынок... Не все отвечали ей взаимностью, увы. Но она не обижалась, продолжая жить в своем мире, в ладу с родными людьми.

КАЛЁНОВА Тамара Александровна родилась 26 апреля 1941 года в г. Новосибирске. Окончила историко-филологический факультет Томского государственного университета. Преподавала в томских вузах латинский и русский языки, работала инспектором районного отдела социальной защиты. Автор повестей “Не хочу в рюкзак”, “Временная учительница”, “Деревянный маузер”, “Девчонки уходят в море”, “По следу Рыбки”, романа в двух книгах “Университетская роща” и других произведений. Член Союза писателей России. Живет в Томске.

Из города уехала внезапно – вдруг засобиралась на Украину, где, как ей кто-то сообщил, могла жить ее троюродная племянница.

– Куда вы?! В такое-то время, без денег, без сопровождающего, через всю страну? – пробовали остановить ее мы. Время действительно день ото дня суровело: сначала разделение Советского Союза, потом все новые и новые границы, темные дела и такие же темные люди...

– А какое время? – удивилась Любовь Петровна и согрела нас кротким голубеньким взглядом. – Обезлюдела земля? Бог отвернулся? Родину отменили?

И отправилась в путь. И доехала ведь! В Донецке живет. Правда, троюродной племянницы там не оказалось. Но сынок-милиционер выправил ей прописку, дочка-комендантша поселила в шахтерское общежитие, внучка-школьница пригласила на встречу с одноклассниками – про Сибирь рассказать, а племянник-сосед сколотил тумбочку и подарил Любове Петровне чайник. Вот почему она всех нас зовет к себе в гости, чай пить и про сибирскую жизнь вспоминать.

Удивительно, но треугольное письмо ее, похожее на те, фронтовые треугольники без марок, с таким вот адресом: “Томск, СОС-защита, от Дороховой с Украины”, – до нас дошло.

“В самом деле, – думаю я, вспоминая Любовь Петровну. – И земля не без людей стоит, и Всевышний зовет к милосердию, и Родину отменить не дано никому. Вот какая сила, оказывается, таится в человеке, вот на чем замешен православный русский характер”...

* * *

Когда у коровы рождалась телочка, дед расцветал: не на мясо, на молоко растить! И начинал готовить ее к коровьей жизни – с глубокого детства. Разговаривал, гладил по голове, по бокам, чесал щеткой, поил теплым молоком, хвалил, никогда не повышал голоса, теребил несуществующее вымя, приучая к будущим рукам доярки... Но зато и корова у него вырастала! Не корова, а королева!

Продавал дед своих бынечек только в добрые руки. Иногда за бесценнок, но обязательно в добрые.

“Быня, быня!” – позовет, бывало, на околице – и чуть ли не пол деревенского стада тянет в его сторону морды.

Феня в деда пошла, от коров ни на шаг. Ей всё в них нравилось: морды, глаза, теплое вымя. Любила зимой зайти в стайку. Тепло, парно, сено шуршит, а на спине у коровы куры сидят, как на насесте. И она их терпит, не сгоняет, даже хвостом не шевельнет, только вздыхает.

Сколько себя помнила Феня, всё-то она телят пасла. И профессия у нее сама собой вышла: телятница. Когда двадцать два года минуло, замуж вышла, первенца родила.

Пасла как-то в поле стадо. Вдруг откуда-то налетел сильный ветер, пригнал серо-черную тучу. Разразился град. Некоторые градины были с куриное яйцо. Феня и телята помчались к ферме. Как бежали – отдельный разговор. Но добежали.

Феня быстренько воды согрела и каждому теленку в ведро капнула скипидару. А себе не догадалась. Телята даже не простудились, ни один, а Феня слегла в горячке.

– С той поры у меня и обнаружилась вторая группа, – с привычной печалью улынулась она. – А что поделаешь? Так решила судьба. Мне, как тринадцатому поросенку, мало чего доставалось. И полы некрашенные по котонам мыла, и зерно стерегла, и капусту на продажу квасила. Это уже когда в город переехали. Знаете, что меня больше всего в городе поразило? Что у женщин белые пятки. Идут в танкеточках, нарядные – и пятки белые! Чудно. Муж? Хороший, да. И жизнь с ним хорошая была: один год за три. А как умер, так еще лучше стало. Детей двое, а заработок один. Я ведь на свою пенсию только помереть могла, а мне жить надо было, детей учить.

– Выучили?

– А как же! Оба с верхним образованием, оба инженеры. Младшенький, как выпьет, плачет: “Я твоих мышей, мамка, во сне вижу...”

– Мышей?

— Ну да. Когда он еще в школе учился, а потом в институте, я надомницей работала, белых мышей для науки выращивала. Хоть и не много платили, а всё же платили. Надо же было как-то из ямы выкатываться...

Она скоро ушла, маленькая, невероятно худая, в модном голубом канадском пуховике.

— Подарок младшенького, — похвасталась на прощанье. — Старший тоже присылает, но деньгами. А на что мне деньги? Это богатому больше да больше надо, остановиться никак не может. А мне только и надо, чтобы Господь Бог моим детям посочувствовал...

* * *

Анатолий — красивый, молодой мужчина, нет еще и тридцати трех. Беда случилась с ним на Обрубке, в очереди за водкой, которую в то время здесь продавали по талонам. Шел на работу да невзначай свернул сюда, пристроился в хвост. В это время кто-то из таких же молодых и горячих полез по головам, чтобы проникнуть внутрь магазина. Мужики сбросили его, и он упал на Анатолия. Парню-то ничего, а Анатолий ударился головой обо что-то твердое. С тех пор его мучает одно и то же беспокойство: как бы на работу не опоздать, на работу...

Давно ему пора получать пенсию по второй группе инвалидности, а он сопротивляется, жалобы пишет: третью давайте! рабочую! мне на работу надо, а со второй кто ж меня возьмет? я же знаю, какое сейчас время наступило, не обманете!

Руки, сильные и когда-то умелые, скучают без дела. Ищут его. Вот и решил Анатолий переложить печь в избушке, доставшейся ему после смерти матери. Разобрать разобрал — руки сами вспомнили. А собрать не может. Смотрит на груды очищенных от сажи кирпичей, ведро с песком, пакет с известью, а соединить всё это не получается.

Ночью морозно, сыро. Догадался костер во дворе развести. Согрелся, утром картошки в углях напек. Еще ночь так прошла. И еще. Там, у костра, и нашли его Вера с Таней (кто-то из соседей позвонил). Дали талоны на продукты. Он обрадовался:

— Ну, спасибо, подружки! Пойду завтра на работу, лапши наварю. Мне бы только весну пережить. А там лето! Меня обещали на “Метеор” взять, помощником. На Каргасок ходить будем. Ох, и покатаю я вас, девчонки, с ветерком...

Весну он пережил. Печку добрые люди помогли собрать. А на “Метеор” не попал. На сезонные сельхозработы — это ему удалось. Прибежал довольный, веселый:

— Подружки! В колхоз еду! Урожай спасать! Ох, и поведу же я вас всех в кафе...

Месяц спасал. Зарплату получил. А ее в тот же день нелюди трамвайные выкрали, всю, подчистую.

Снова к нам пришел.

* * *

Николай Осипович появился перед самым обедом. Сел на старенький красный диван, подаренный нашему отделу загсом, бессильно свесил руки. Красивые рабочие руки не старого еще человека, но какие-то... неодушевленные. Голос негромкий, усталый.

— Работа? Да работа у меня всю жизнь легкая была: два рычага — и хорошо! На грейдере трудился. Здоровый, пуп наголе, без верхонок на любом морозе. Бесносный должен был получиться из меня человек. По природе. А вот...

Он с трудом переместил истощенное тело по дивану.

— Что же случилось? Просто так первую группу инвалидности врачи не дают.

— Случилась жизнь, — раздумчиво сказал Николай Осипович. — Врачи с меня и по сей час удивляются, студентам показывают. Каменею я день ото

дня, вот что. Никакие лекарства не помогают. А дело, значит, такое... Работал я как-то на склоне. Работал и работал. Вдруг чую: грейдер стало вниз тянуть шибче обычного. Я — на тормоза, ножом уперся, а он и заскользил по снегу, как на лыжах. Тонна-то в нем не одна. А внизу, вижу, женщина с двумя детьми в колею попала. Смотрит наверх и не догадается, дура, детей на высокую бровку посадить! Смотрит и всё. Потом как закричит... Да так, что двигатель перекрыла. Грейдер к ним совсем уже близко... Хорошо, Бог какого-то мужика послал. Как с неба! Понял он, что мне не остановиться — и выдернул и детей, и ту бабу из-под самого ножа. И сам наверх заскочил. Они-то спаслись. А у меня нервы во многих местах порвались. Остановил машину, а выйти из кабины не могу. Так на носилки и положили скрюченного. На восемь месяцев в госпиталь загремел. Потом инфаркт. А теперь вот камнетать начал.

Он мученически закашлялся.

— Лучше бы я их задавил. Отсидел бы или сам удавился. А так — редкую ночь я женский крик не слышу, — не то ругнулся, не то простонал он.

Я записала его в очередь на путевку.

На курорт он тогда съездил. Здоровье у него постепенно стало прибавлять. Потом он переехал в другой район, и мы больше не виделись. Но сколько раз, в самые тяжелые для всех нас, для моей многострадальной страны времена, когда не было ни сил, ни разума выбраться из глубокой колеи, а стальной нож гигантской и безразличной машины всё приближался, я вспоминала его рассказ и молилась: *“Господи, пошли стране ответственную мужскую власть! Пусть она догадается, что машина не может сама остановиться! Пусть выдернет хоть детей наших из этой проклятой колеи...”*

* * *

Всё чаще стал заходить к нам Елизвой Илларионович, великий в своей незлобivosti человек. “Поклонная голова” — прозвали его сотрудницы (для меня просто “девочки”).

— Елизвой Илларионович, вы с кем-нибудь когда-нибудь ссорились, чего-то требовали?

— А зачем? Просить иногда приходилось, это да. А скажут “нет”, я и так пойду. Ишшо воевать приходилось, это да.

От него мы узнали, что у воюющих людей нет личной ненависти, поэтому и в годы затяжной войны он тоже ни с кем не ссорился — только воевал.

— У меня жизнь такая, что вот на этой стенке не опишешь, — как-то разоткровенничался он. — Из закулаченных я. Из охотников. Пол-Нарыма лосятиной кормил. На медведя не раз выходил. А потом война началась. Так что фронтовик я, от нападения до полной Победы. Когда к Москве пятились, молча шли. А как от неё поворотили, так по три раза в день “ура” кричали. А как иначе? Вижу, робятка сыпью бегут, и я за йими. Тут бы только не отстать, а уж головой в снег уткнуться — это как кому повезет. Мешок у меня за спиной, не в пример молодым, чем-нибудь да набит. Как привалимся где-нибудь в лесочке альбо тут же, на снегу, так все ко мне: Елизвончик, дай портянку, ложку, фляжку... Сначала побросают, а потом “дай”. Ну, давал, знамо дело. Почитай для них, мокрогубых, свой горб и таскал. Ох, и понадсмеивались они надо мной по-всякому, попотешались за войну! Из “верблюда” и “горбуна”, почитай, годами не выходил. Да-а... Однако ж сослужил тот горб мне службу верную. Под Старой Руссой. Положил нашу роту немец как-то в чистом поле — головы не поднять. Так уж получилось. На войне как? Кто первым противника к земле пригнёт, тот и господин. Лежу. А вещмешок на спине будто собаки треплют. Пули, значит, вжик, вжик! На палец бы потоньше мешочек был — всё, скосили бы, как траву!

— И ни разу не ранили?

— Обижаеть, дочка, — он стащил штопанный-перештопанный полушубок и задрал рукав застиранного свитера. Обнажилась глубокая и обширная рана, будто кто выгрыз мякоть руки от локтя и до запястья. — И на ноге тако ж, — похвастал, — и на спине. И на боку. В баню приду, мужики разглядывают. Но мне это не помешало Вассыньку ото всех женихов отбойрять и за себя взять. Ох, и любил же я её! За всю жизнь ни разу пальцем не тронул! Нико-

гда! — на мгновение задумался, что-то припоминая. — Правда, раз побить хотел... Было такое, не скрою. По случаю круглой Победы, на сорокалетие, выпил я. И сомлел. Улегся на телегу во дворе — совсем сдвигу не стало. Вассынька потыркалась, потыркалась возле меня, сенцом притрусилась и в избу ушла. Ребятёнчишков покормить. У нас дети ча-а-стые были. Четверо на лавке сидели, а одна в зыбке хлебный мякиш в тряпочке жулькала. Ну, я лежу. А морозец пробирает, майский да ночной кого хошь заберёт; Сибирь не Болгария. Почему Болгария? А там ночи теплые, парные. В общем, лежу. А встать еще не умею. Ну, Вассынька опять вышла. Ко мне подступила. Под рубаху снежком-то майским и сунула. Я и подскочил, руками замахал. А она от меня юрк — и в избу. Я за ней. Зубами стучу. Како там! Никака печка не поможет! Подскочил к Вассыньке, схватил милушку мою в огрёб — только тем и согрелся. А ведь побить хотел...

— Один живете? — сочувственно закивала Таня.

— Четыре года, восемь месяцев и двенадцать дён, — ответил Елизвой Илларионович. — Дети кто где. Дочки взамужем, своих детей роят. А сынами недоволен я оказался. Не тем заняты: портфели носят. А надо не так. Корову пасешь — с молочком будешь, землю вспахал — с хлебушком. А с портфеля како молоко? Не мужицкое дело портфель. Сыны, как придут, так и поучают, и поучают: ты, папка, отсталый, по старинке мыслишь, фронтовик, пенсия у тебя большая, а погляди, в чем ходишь? как из лесу только что выбрался! Ничо, — говорю, — в чём хожу, в том и ладно. Бедно-рвано, а с тротуара никто не спихнёт, обойдут стороной. А вы, при галстуках да при пиджаках, рази так свободно по тротуарам ходите? Не-ет, идёте да оглядываетесь, кабы ваши портфеля кто не отобрал. Не понима-ают...

— А к нам-то, Елизвой Илларионович, зачем пришли?

— А так. Слышу: защиту како-то соорили. Значится, думаю, нападение произошло. Надо в разведку собираться. Може, подмога вам како-то нужна?

— Спасибо, дорогой Елизвой Илларионович, спасибо, — растрогалась “девочки”, провожая его до двери. — Это мы вам подмогой должны стать! Вот скоро путевки в санаторий придут... вы приходите... мы вам поможем оформить...

— Санатория мне теперь, дочка, ни к чему, — вздохнул Елизвой Илларионович, но тут же захорохорился: — Я так-то еще ничего, качественный...

Ушел наш заступник, пообещав заходить с дозором ещё. В кабинете долго стоял запах овчины, махорки, а в ушах звучал хрипловатый голос, рассказывающий простую историю о том, как наши отцы и деды то пятились до Москвы, до Волги, то по три раза в день кричали “ура”...

* * *

Ко мне шли в основном пенсионеры. Вот я и заметила, что к весне они сильно изменились. Появилось много бледных, пожелтевших, исхудавших лиц, невымытых людей (многие продавали банные талоны за полцены, чтобы выпить или покушать). Во время приемов случилось несколько голодных обмороков. Во многих домах и квартирах совершенно не пахло едой (это выяснилось во время подворных обходов). Жуткое впечатление производило такое человеческое жильё. Оторопь брала: никакой еды, ни плохой, ни хорошей.

Иду к Феодосье Кирилловне. Это ей в прошлый четверг вызывали “скорую”, и врач, молодой и усталый мужчина, поставил диагноз: хроническое недоедание. Хозяйка открывает дверь, не спрашивая, “кто там”. В доме тепло, светит лампочка под красивым фарфоровым абажуром. Кровать аккуратно заправлена, с кружевными накидушками и подзором. На стене две картины под стеклом, вышитые крестиком: роскошный дворец и букет васильков. Рамочка с фотографией молодого танкиста. В углу на полочке икона с Николаем Чудотворцем. На столе, покрытом чистой клеенкой в голубую клеточку, чашка с бледным недопитым чаем и морковка, наполовину соскобленная ножиком. Это и есть обед Феодосьи Кирилловны.

— Может, вам пенсию не приносят? — спрашиваю.

— Приносят.

— Некому за хлебом, за молоком сходить?

— Сама хожу.

– Тогда почему?.. Кто-то отбирает?

С большой неохотой, лишь потому, что возникло подозрение, что кто-то обижает ее, Феодосья Кирилловна рассказывает о своей теперешней жизни. Никто не обижает. У неё хорошая дочка и трое внучат, последнему нет еще и полугода. И зять хороший. Дрова напилит-наколет, крышу починит, огород вскопает – всё он; ни от какого дела не отлытает. Но вот уже полгода сидят они без зарплаты. Оборонный завод на бок лёг, рабочим нечем платить, каждый день завтраками кормят, а на работу – ходи! Вот и растерялся мужик маленько, не знает, что делать. На станке строгальном только и привык работать, а он возьми да и перестань деньги печатать... Феодосья Кирилловна им свою пенсию отдаёт, копейка в копеечку. И картошку всю отдала. “А как же вы, мамаша?” – стесняется зять. “А у меня на черный день припасено, бери, не тушуйся”, – обманывает она. А что поделаешь? Детей посулами не накормишь, не обуеши и в школу не проводишь.

Когда подобная история повторилась не в одном, а в десятках домов, я написала в своем отчете: *старики кормят своих взрослых детей.*

“Девочки” со мной согласились, они тоже это заметили. Но дописали свое: ликвидация предприятий, невыплата зарплаты, в том числе в связи с рэкето́м (появились у нас и такие справки от работодателей), отсутствие рабочих мест, низкий уровень доходов. В каждой семье была своя причина бедственного положения – и на всех общая: рыночные реформы...

* * *

Умерла Нина Степановна, справедливый человек. Позвонила её сноха и убитым голосом сообщила:

– Мама просила вам передать, чтобы вы долго жили...

– Я приду. Скажите, когда...

Женщина захлебнулась слезами, но время похорон назвала.

Я не могла не пойти проводить Нину Степановну. Мы часто и подолгу с ней разговаривали. Не знаю, как она, а мне её не хватало, если долго не виделась. Или она к нам в отдел придет, или мы где-то на улице встретимся (живем... жили в одном квартале), остановимся и не можем наговориться.

Нина Степановна в Сибирь эвакуировалась вместе с двумя цехами ленинградского завода “Электросила” (остальные цехи были отправлены в другие сибирские города). Ехали с уверенностью, что их ждут готовые заводские корпуса – в печати сообщалось, что в Томске в 1940 году начато строительство крупного предприятия для выпуска электродвигателей. Но завода не было. Только фундамент первого корпуса да конюшня и деревянный домик-столовая.

Электросиловцы всё делали одновременно – и завод строили, и оборудование с железнодорожной станции на стальных листах-“самокатах” волокли, и на станках, установленных под крышей-небом, продукцию выдавали.

– На войне главное что? – спрашивала Нина Степановна и сама же отвечала: – Удар и защита. У нас в те годы удар пришёлся по европейскому Зауралью, а защита строилась в Сибири. Сибирь – важное для России место. Здесь её защитное сердце. Здесь защитные силы...

Нина Степановна работала обмотчицей моторов. Мало кто умел так сноровисто и красиво укладывать виток за витком золотисто-красную проволоку. Мужа она потеряла рано, в тридцать лет. Он вернулся с фронта легко раненный, а всё равно пожил мало. По ночам часто кричал: “Огонь! огонь!” Ему снилось, что танк идёт, а его пушка не стреляет, и он, командир-лейтенант, остался на поле боя один. “Хуже нет, Нина, солдату остаться одному, – говорил он жене. – Без товарищей беда. Никому не пожелаю, даже врагу!” Он и умер-то, простудившись на рыбалке, когда спасал товарища, угловидшего под лед. Не изменил фронтовой привычке.

Нина Степановна замуж больше не выходила. Воспитала сына, затем двоих внуков, мальчика и девочку. А когда сын завёл вторую семью, оставила детей и сноху у себя, а ему указала на порог. Так и жили они долгие годы в её квартире, до последнего её часа.

Нина Степановна страдала астмой. Ей часто не хватало воздуха, говорила с трудом, с мукой:

– На мне как мешок лежит, так жить тяжело. А всё перестройка эта, будь она неладна. Когда скажут: советская власть – так по сердцу что-то родное и теплое прокатится. А “капитализм” – нет. Не люблю его. Плохо от него людям. И богатым, и бедным. У денег нет не только глаз, но и совести. Только заработанные деньги радость приносят, и то не всякие. Включу телевизор – опять всё наше ругают. Выключу, а слова уже застряли. И вот тут, – она показала на сердце, – будто лед положили. Раньше как? На муже рубаха-перемываха, одна то есть. Постираю, посушу, поглажу – он на себя её и наденет. А у меня штапельное платье в два шва по бокам – и на курорт в танкеточках, да с мужем под ручку! Наравне с богатыми. А теперь? Неужели всё зря было?!

– Нет, не зря. И ваша жизнь, Нина Степановна, случилась не зря. У вас достойная биография!

– Это вы так, для утешения, – не соглашалась Нина Степановна. – Вам роль такая выпала.

– Ну, зачем вы так...

– А как?! Жить как?! Чем? Всё отобрали, всё исчернили, даже воздуха не оставили...

В последнюю нашу встречу мы говорили о Ленине. Многие тогда о нём говорили, потому что новые хозяева хотели закрыть мавзолей в Москве, а тело похоронить. Нина Степановна не возражала против предания тела земле, по христианскому обычаю. Но сомневалась.

– У Ленина всего одна ошибочка-то и была, – сказала она. – Когда он объявил “Бога нет, царя не надо”. Что царя не надо, это правильно, а что Бога нет – он ошибся. Есть, есть Бог, он всё видит! Бог не яшка, знает, кому тяжко...

Мы и о религии тогда поговорили, о вере. Нина Степановна редко ходила в церковь, но верила искренно, часто повторяла: Бог видит, кто кого обидит. Она старалась никого не обижать. На прощанье оставила мне переписанную от руки молитву:

Господи, дай мне силы, чтобы изменить то, что я в состоянии изменить. Дай мне смирения, чтобы принять то, что я изменить не в состоянии. И дай мне мудрость, чтобы отличить одно от другого.

Она лежала, украшенная бумажными цветами, сделанными руками её внуков. Лицо было спокойное, как у человека, исполнившего данное обещание. Сын, располневший и седоватый мужчина, то входил, то выходил из комнаты, пытался что-то сделать, предпринять, но всё уже было сделано. Завод взял на себя хлопоты по организации проводов в последний путь своей работницы.

А сноха рассказала, что, когда она вернулась с работы и зашла в комнату мамы, Нина Степановна лежала в чистых одеждах, вынутых из “смертного узелка”, а “брызгалка”, баллончик с антиастматическим препаратом, была отброшена далеко-далеко, под шкаф.

– К чему бы это? – почему-то шепотом спросила женщина. – Неужто сама? Последнее время, как услышит по телевизору что-то плохое про прежнюю жизнь, так застонет: “Господи, хоть бы не прожить долго...” А?

– Она была верующая. Она не могла сама. “Брызгалка” улетела нечаянно, – возразила я. Что я могла еще сказать убитой горем женщине? Вспомнить последние слова Нины Степановны, сказанные на пороге моего кабинета: “И смерти нет, и жить что-то не хочется”... Что мы вообще знаем о душе человеческой, которая страдает и мучается от несправедливости и бывает подчас тяжелее тела? Может быть, прав поэт Николай Зиновьев из далекого и теплого Краснодарского края? *От мира – прогнившего склепа, // От злобы, насилия и лжи // Россия уходит на небо, // Попробуй ее удержи.*

* * *

Мне передали опекунов. В большинстве своем это были пенсионеры, принявшие на свои плечи тот груз, который предложила им жизнь. Они могли бы отказаться: сами ношены-переношены, ослабли, окунулись в нищету и болезни. Но эти не могли, потому что дети оказались еще слабее. У многих родителей не стало, погибли на автомобильных дорогах, сгорели в пассажирских поездах, упавших самолетах, потонули на паромах. У кого-то их “не бы-

ло” совсем, и они выпрашивались из интернатов на жительство к престарелым или дальним, но всё-таки родственникам. Чьи-то родители запились или отбывали свои годы в “заключке”.

Опекуны были разные, чаще женщины, реже мужчины, но с одинаковой манерой поведения. Некрикливые, немногословные, терпеливые, исполненные внутреннего достоинства, они казались людьми, исполняющими важное секретное государственное задание. А дети... Дети как дети. Смышленные, любопытствующие, подавленные, робкие... Разные. Одна девочка рассказала, что попросила бабушку не умирать, пока она паспорт не получит. Бабушка так и сделала. Девочка горько плакала и винила себя за опрометчивую просьбу. Паспорт-то ей дали в четырнадцать лет. “Надо было просить, пока я замуж выйду, – рыдала она. – Ах, бабуля, бабуля...”

С опекунами работать проще. Они получали государственное пособие, имели жильё (бесквартирным гражданам детей под опеку не отдавали), пенсию; у многих были огороды или мичуринские участки, куда они вывозили детей на лето. Со своей стороны соцзащита оказывала им поддержку. Оздоровительные летне-зимние лагеря, одежда, продуктовые наборы – всё, что проходило через наш отдел, шло в эти семьи в первую очередь.

Но жизнь ровной не бывает – то рубаха короткая, то пуп наголе.

Часто наведывалась к нам одна бойкая старушонка со своей девятилетней внучкой Майей. Девочка была слепая от рождения, но, похоже, она немного видела, так как поворачивала лицо на яркий свет лампы. А может быть, мне это только казалось, и Майя просто ощущала тепло, идущее от светильника, и тянулась к нему, как светолюбивое растение.

Старушка получала, по нашим представлениям, скромные, но достаточные деньги для себя и своей подопечной. Тем не менее, она часто ходила “на угол”: просить милостыню. Рядом ставила Майю, но не заставляла просить, а велела просто стоять. “Сидеть, когда просишь милостыню, – считала опекунша, – неприлично”. Когда мы попеняли ей: ребенок должен быть в школе, а не стоять “на углу”, – опекунша вроде бы послушалась. А потом придумала другое.

Жили они возле центрального рынка. Комнатка с кухней располагалась в деревянном доме с квартирами коридорного типа. Что-то похожее на общежитие, но всё же отдельная квартирка, в которой было и отопление, и вода, и сидячая ванна. В этом полуобщежитии и всегда-то было много проживающих, что называется, под завязку, но с приходом рыночных отношений стало не продохнуть.

Мы настаивали на переселении Майи в интернат для слабовидящих, но бабка свое согласие не давала. Отведёт для видимости девочку туда на неделю, и снова забирает. А нам рассказывает (со слезой в голосе), что Майя из интерната убегает. И из дома, дескать, убегает на рынок. Ходит между рядами и просит фрукты или овощи. А бабке ничего не остаётся, как гоняться за ней, ругать и кричать: “Не давайте ей! Нечего попрошайничать!” А продавцы – ах бармалеи! – вступаются за Майю: “Молчи, женщина. Иди сюда, девочка, на грушу... Бери персик...”

Оказалось, бабка специально ходила следом за Майей и собирала в корзину овощи и фрукты. Это был её “старушечий промысел”. А вечером гуляло пол-общежития. Майю угощали селедкой или копчеными ельцами, выловленными тут же, за рынком, возле городской пристани. Бабушке подносили стопку.

Мы начали готовить документы в судебные инстанции. Но не успели. Майя заразилась туберкулезом от бабушкиного сожителя, вернувшегося из тюрьмы. Её отвезли в Городок, пытались лечить, но безуспешно. Туберкулез оказался какой-то новый, не поддающийся лекарствам, скоротечный. Девочка умерла. Прости, Майя, нас, зрячих...

* * *

Строгое (и единственное) взыскание я заработала за нарушение неписаного правила: не воспитывать посетителей. Наше дело – оказывать посильную помощь, разбирать жалобы, заявления, вникать в нужды и житейские обстоятельства, выслушивать просьбы, советовать, но ни в коем случае не на-

зидать и не впадать в нравоучения. Такова была практика, таковы были условия нашей работы. А я их нарушила. Дело в том, что в действительности границы между советом и нравоучением такие зыбкие, такие прозрачные, что порой и вовсе не видны. Это как в сумерках на сером асфальте различать полустёртые меловые “классики”. Непременно на черту наступишь.

Пришла ко мне А-ва. Статная, высокая, в дорогом кожаном пиджаке (они только-только входили в моду, и молодежь победнее щеголяла в куртках, сшитых из распоротых волейбольных мячей). А у А-вой был пиджак цельнокроеный. Потому и дорогой. В ушах тяжелое золото, на шее такие же цепочки (кажется, три штуки, одна на одной), на пальцах тоже что-то желтело. Лицо смуглое, некогда красивое, с резкими чертами. Гравюра – не лицо. Глаза непроницаемо коричневые, настороженные. А вот тонкие губы не накрашены и оттого словно бы потерялись. Может, улыбка найдет их? Но улыбки не было. Гнев и жалобы – это да. Это было.

У А-вых шестеро детей. Муж не работает. Приходится снимать квартиру. “Кое-как спаслись из-под бомбежки, которую *ваши федералы* устроили в Грозном, – гневается женщина. – Дети плохо понимают русский язык. Как в школу их отправлять? Скоро зима, а они у меня в тапочках! Им что, босиком в школу идти, э?”

– Нет, босиком нельзя, – говорю, заполняя необходимые бумаги. – Босиком в Сибири никак нельзя. . .

– Так что мне делать? – срывается на гортанный выкрик посетительница.

– Ну. . . – я посмотрела на разгневанную женщину. Я тоже мать, я понимаю, надо действительно что-то посоветовать: – Ну, я бы продала украшения, пиджак, что ли. . . И обула детей.

Ох, что тут началось! А-ва кричала так, что в коридоре стихли все разговоры, а в окнах тоненько задребезжали стекла.

– Да я. . . Я, может, в этом пиджаке сплю!! Мое золото увидела?! Да я. . . Ну, всё! Я добьюсь, чтобы тебя уволили!! Тебе не место здесь!!! Так вы помогаете беженцам?!

Сгребла документы и прочь из кабинета.

Ты – это ладно. Это понятно. А вот “не место”. . . Не место. А где оно, мое место? И вообще – где их распределяют, чтобы знать, не на чужое ли попадёшь? Моя мать в военное время обменяла обручальное колечко на ведро картошки и была счастлива удачей. Так что мой совет “продать украшения” вырвался сам собою, помимо моего разума, откуда-то из непостижимых глубин подсознания. Вырвался, и уже ничего не поправить.

А-ва слала жалобу за жалобой, всё выше и выше, добираясь до самого верха, как по бетонной лестнице. Ко мне зачастили с проверками, даже корреспондент местного радио посетил; я написала кучу объяснительных, лишилась квартальной премии; на моё начальство было тяжело смотреть, потому как доставалось и ему.

Несколько месяцев длился этот “конфликт местного значения”. В результате чего А-вым предоставили комнату в общежитии, а потом, кажется, и квартиру – правда, в другом районе. Беженцам с Кавказа надлежало помогать. Жалобы следовало рассматривать в срок. Виновные должны быть наказаны. А дети – расти и ходить в школу. И это так.

* * *

Алексей Иванович зашёл за гуманитарной помощью для тещи-инвалида и увидел, как соцзащитовский вахтер сминает, плющит добротные коробки из гофрированного, покрытого воском картона.

– Что вы с ними собираетесь делать? – спросил он.

– Сжигаем, – вздохнул вахтер, – “Вторсырьё” развалилось, хранить негде. Беда, да и только. . .

– А можно я заберу?

– Да, пожалуйста! – обрадовался тот и не удержался от любопытства: – А зачем?

– Дом строю, – объяснил Алексей Иванович. – Доски я нашёл, а внутренность меж ними картоном забью. Вишь, какой картон-то – американский. Можно сказать, с того света. . . из-за океана то есть. . .

– Гляди ты! Такого строительного материала я на Сибири что-то и не припомню...

С тех пор Алексей Иванович стал частым гостем в отделе. В одной и той же, но всегда чистой клетчатой рубашке и выгоревшей на солнце полотняной куртке, коренастый, неторопливый, но внутренне стремительный, он входил к нам с широкой улыбкой (“Как у артиста Жженова”, – определили “девочки”), прижимая правую руку к сердцу (так он здоровался со всеми в кабинете сразу). О себе рассказывал коротко, но откровенно, и вскоре мы уже знали о его семье всё. Ну, или почти всё.

Алексей Иванович переселенец из Казахстана. Вынужденный. Хотя такого статуса в отношении его не существовало – Казахстан не относился к “горячим точкам”. Жил в небольшом городке, где располагались два завода: кирпичный и стекольный. В молодые годы он строил их по очереди – сначала кирпичный, а затем стекольный, так как по профессии Алексей Иванович был строителем. Потом его назначили заместителем директора стекольного завода по строительной части – надо было достраивать цеха, ведомственные дома – да мало ли что еще! Получил квартиру, насадил сад на участке земли в пригородной полосе. Избирался народным депутатом. Пользовался заслуженным уважением среди жителей. И вдруг – всё как будто подменили. И завод, и завод, и людей. Алексей Иванович, его жена, фармацевт с двадцатилетним стажем, дочка, выпускница воскресной школы при православной церкви, и даже теща-инвалид, в прошлом учительница немецкого языка, стали здесь чужими. На заводе ему в открытую заявили о “переориентировании на национальные кадры”, а кто не согласен, может увольняться. И вообще – “Чемодан. Вокзал. Россия”. Казахстан для казахов! Первыми не выдержали и стали уезжать немцы. За ними потянулись русские.

Алексей Иванович держался долго. Но когда его дочку не приняли в сельскохозяйственный техникум “по причине нехватки мест для национальной молодежи”, не выдержал и он. “Всё, – сказал он домашним, – собираемся в Россию”. Но куда? Из всей родни в России оставалась троюродная сестра, и жила она в Сибири, в Томске. “Значит, едем в Томск”, – решил Алексей Иванович.

Троюродная сестра в приюте вынужденным переселенцам не отказала, но сама жила в маленьком домишке на Каштачной горе, почти у самого обрыва. Первое время ютились все вместе, пока Алексей Иванович не вырыл на обрыве полужемлянку, укрепил её, как блиндаж, в два наката, бревнами, поставил железную печь-буржуйку и соорудил просторные нары. В этой полужемлянке они и перезимовали. А весной он начал строительство дома. Тут же, на обрыве, на ничейной земле. Сын троюродной сестры помог залить фундамент. Но потом его забрали в армию, и помощника у Алексея Ивановича не стало. На деньги, вырученные от продажи (задешево) казахстанской квартиры и плодоносящего сада, Алексей Иванович купил бревна и доски для стен. На крышу зарабатывал дворником и ночным сторожем. Рано-рано уберёт территорию возле частного магазина – и спешит на строительство своего дома. А вечером уходил в ночную смену, сторожить автостоянку. Как он выдерживал такой режим – одному Богу ведомо. Но в соцзащиту Алексей Иванович приходил всегда с улыбкой.

– Алексей Иванович, нужно идти на прием к самому высокому начальству, – говорила я ему. – Нужно добиваться статуса вынужденного переселенца, квартиры, беспроцентной ссуды на строительство... Не может быть, чтобы вас не услышали!

– Может, – улыбался он. – И ходил, и добивался, и просил. А насчет того, выдержу ли... Александр Васильевич сказал так: “Мы русские... и всё одолеем”.

– Александр... Васильевич... Кто это?

– Суворов, – снова улыбнулся Алексей Иванович. – Не слышали?

Мне стало стыдно: я действительно не знала этих суворовских слов. О пуле-дуре, штыке-молодце слышать приходилось, а о том, что мы русские, и всё одолеем, нет.

Русский философ-эмигрант Иван Лукьянович Солоневич (1891–1954) писал, что “жизнь народа вообще, а великого народа – в особенности, развивается по закону больших чисел (отсюда доминанта национального характера русских – государственный инстинкт, т. е. служить на общее благо, на госу-

дарство)”. . . Иван Лукьянович называл это *инстинктом общежития*. А ещё он выделил главное свойство русского человека: уживчивость и “не замай”. Уживчивость и “не замай”. И всё это в одном человеке, в едином характере.

“Не замай” Алексея Ивановича выразился в молчаливом протесте против унижения его национального достоинства – взял и уехал. И ни разу не пожалел о найтом и брошенном. Врезался в край обрыва, перезимовал вместе с семьей. А теперь строит дом. И сейчас для него главное – погоду угадать, не замочить добротный американский картон, который, по всем прикидкам, должен держать тепло. Не может не держать.

В то лето сибирская погода посочувствовала Алексею Ивановичу: за полтора месяца ни слезинки не проронило небо. И только когда он забил последний гвоздь в рейку, прижимавшую пластину толя к стропилам и доскам, по крыше мягко застучали дождевые капли.

* * *

Прошло десять лет. На пенсию меня провожали тепло и сердечно. “Девички” были великолепны. Нарядные, красивые, молодые. Произнесли много хороших слов, пожеланий заслуженного отдыха. Недосказанное уместилось в молчании. Мой служебный временной срок окончился, и печали в этом событии было неизмеримо больше, нежели радости.

Неожиданно появилось много лишнего свободного времени. День сделался большим-пребольшим, его стало возможным делить на крупные части: утро, полдень, вечер. Время замедлило свой шаг, и секундная, а за ней и минутная стрелка оказалась ненужной. Потянуло к университету. Белокаменный, величавый и строгий, в моей жизни он был не просто учебным заведением, в котором когда-то я училась, а неким высшим существом, личностью, с мыслями и поступками которого соотносилась вся моя жизнь и даже иногда её смысл.

Память невольно унырнула в студенческие годы.

Комната “восемь на восемь”. Восемь человек на восемь метров. Двухъярусные железные кровати. Чугунная сковорода на полстола, и вся наша коммуна, дружно обсевшая эту сковороду с незабываемо вкусной картошкой. Шутки. Споры. Смех. Ночные бдения над конспектами. Ключ под дверь. Билеты в театр под стипендию. Стипендия под подушкой. Университет преподавал нам множество самых разнообразных знаний. Часть из них так и осталась нетронутой, не востребованной; часть расходовалась щедро и безоглядно; многое прибавилось и упрочилось с годами. Но главное – он научил задавать вопросы и искать ответы на них. Как это у него получалось, не знаю, но это так.

Сейчас университет опекает других выпускников, ему не до нас, выпускников шестидесятых годов. Он не может помнить всех. Он, как сосна, у которой одна за другой отмирают нижние ветви, и усилия корней сосредотачиваются на том, чтобы гнать соки от земли к далёкой вершине, на которой кудрявится бодрый и вечнозеленый молодняк. Да, университет – это солнцелюбивая корабельная сосна.

“Что можно увидеть в волнах?” – задавались вопросом умные головы на гребнях поломанных эпох. А ничего! Я тоже плавала в беспокойных черноморских водах, когда на пляжах вывешивались знаки “Купаться запрещено”. Я ничего не видела, кроме накрывающего откуда-то сверху зелено-свинцового вала, огромного количества горько-соленой воды, готовой захлебнуть, подавить, утянуть на дно, не дать выбраться на поверхность. Изо всех сил я карабкалась на этот вал, дорожа каждым глотком воздуха. . . И тогда – ненадолго! – удавалось увидеть небо. А берег – нет. Это пугало по-настоящему, заставляло сердце биться отчаянней; казалось, надежда растворилась в воде, как эта горькая соль. . . Но тут снова появлялась полоска голубого неба, – и скольжение вниз, в неумолимую бездну, и набегающий сзади гребень с пеной наверху уже не представлялись окончательными. Нет, в волнах разглядеть ничего невозможно. Нужно только плыть, только стремиться к берегу и не поддаваться унынию.

Часами я бродила по городу. Вот здесь, на крыльце деревянного особняка, украшенного чудесной резьбой, я спасалась от летнего проливного дождя, а из окон первого этажа звучал вальс Свиридова. . . Нет уже этого дома-терема с гостеприимным крылечком. На его месте возвысилось красно-кирпичное

чудовище, задавившее своей многоэтажностью соседние здания. Я шла дальше. Город раскрывался с новой, неожиданно чужой стороны. Огромные здания, элитные постройки, особняки с подземными гаражами, пустынные дворы, в которых стояли дорогие автомобили. . . Их было так много; они смотрели отовсюду своими пустоглазыми евроокнами, встречали наглухо бронированными входными дверями с кодовыми замками. Казалось, их никто не строил, они пришли сюда сами и встали здесь, на приглянувшемся месте, не спрашивая ни у кого разрешения. Как инопланетные корабли. Да и живут ли в них люди? Отчего так пустынные дворы и не слышно детских голосов? Или я не туда и не в то время попала?

Заглядевшись, не заметила, как на меня надвигается джип с темно-синими тонированными стеклами. Молодой водитель не подавал сигнала, но медленно и упорно наезжал на меня. Я растерялась, заметалась. А он. . . Он смеялся и продолжал сближение. Кое-как сообразив, что же мне делать, я прижалась к стене дома. Джип проследовал к соседнему подъезду. Распахнулась дверца, и из машины царственно-неторопливо вышла молодая женщина в дорогом светлом брючном костюме с крохотной собачонкой на руках. Она казалась веселой и довольной. Оглянувшись на меня, рассмеялась.

Не помню, как я возвращалась домой, по каким улицам и переулкам. Это уже не имело значения. Я, наконец, поняла то важное, что в последние годы никак не удавалось понять, но что мучительно хотелось угадать, распознать в калейдоскопе дней, людей, событий. А поняла я вот что. Не посетителей наших все эти *окайнные* годы мы защищали. Мы оберегали их — обитателей вот этих дорогих элитных домов. Мы делали всё, чтобы они успели разобрать самое ценное из общего достояния, построить свои особняки, нанять охрану, купить дорогие иномарки, одеть своих женщин в норковые шубы и дорогие платья, поместить своих детей в закрытые платные заведения. . . Если бы все эти годы мы не служили временной дамбой с наспех навороченными мешками с песком, толпы рассерженных, обманутых, обобранных до нитки людей хлынули бы на них, затопили своим горем и гневом все их несправедливые “строительные площадки”, смели, смыли в реку забвения, как прошлогодний сор. Мы были той дамбой, которая держалась что было сил. Значит, всё было зря? . .

От всего сердца поздравляем талантливую писательницу и замечательного человека Тamarу Александровну Калёнову с юбилеем. Литературе дано словом согреть и поднять людей, а Тамара Александровна согревала, оберегала и поднимала их и словом, и делом. И хотя в великолепных зарисовках, публикуемых в этом номере, у неё вырвалось горькое: “Всё было зря?”, творчество и сама жизнь Тамары Александровны доказывает — нет, всё было не зря! Всё — для людей, нуждающихся в помощи и защите.